



Марк Берколайко

ЗАКАТНЫЙ РОМАН МАСТЕРА

«**Н**езаконное явление» — так назвал Булгакова восхищавшийся им Пастернак — по аналогии, видимо, с пушкинским «... как беззаконная комета в кругу расчисленных светил». Однако недавние лекции на TV-канале «Культура», посвященные «Мастеру и Маргарите», продемонстрировали, что писателя «расчисляют», пытаются навязать ему явно неподходящее место на наспех намалеванном небосводе мировой литературы.

Чего стоят хотя бы названия лекций!

А. Кураев: «Мастер и Маргарита»: за Христа или против?»

А. Ужанков: «Прелестный роман «Мастер и Маргарита»; в аннотации обещано толкование скрытых смыслов романа, «прелесть» же понимается архаически — как «прельшение», совращение от злого духа... такие, стало быть, скрытые смыслы выуживает Ужанков.

Но не то беда, что расчисляют скверно и тенденциозно — тем живут. Гораздо хуже, что делают это «незаконно», оперируя чем угодно, но только не страницами итогового текста романа.

Манера взалхлеб ссылаться на черновые варианты романа, на воспоминания друзей и недругов автора, на детали его биографии, «незаконна», прежде всего, потому, что настоящий, вершинный роман парадоксален во всем — в том числе, в своей ортогональности к первоначальному замыслу, к первотолчку; в своем несопадении с результатами предварительной работы.

Настоящий роман, как и дерзкий научный прорыв — это взрыв в ноосфере, так что, скажите, насущнее: технология подготовки взрыва или суть и мощность его? предшествующее или последующее состояние ноосферы? Но во всех лекциях, включая прочитанные признанным булгаковедом М. Чудаковой, анализ романа был подменен рассуждениями о том, что вокруг да около него, и знаменитый принцип

Оккама¹ оказался не просто в забвении, а в поприи.

Однако ж, полноте! — можно возразить, — рождение замысла и трансформация его в процессе творчества — разве это не важно?

Важно! Только следует помнить, что размножение подобных сущностей — это всего лишь попытка инвентаризации оборудования в алхимической лаборатории творца. И следует понимать, что даже самая доскональная инвентаризационная ведомость ни на англ-трем не приближает к ответу на вопрос: как, каким образом, почему — от смешения каких несмешиваемых реагентов, от особой ли жаркости пламени или от невысказанной алости его, зажелтело на доннышке тигля золото невообразимой ранее пробы?

И даже будь нам доступен подробнейший отчет самого творца, заверенный чуть ли не нотариально, он ничего не прояснил бы или прояснил гораздо меньше, чем вырвавшийся у другого творца вскрик: «Ай, да Пушкин! Ай, да сукин сын!» — ибо у чуда нет предыдущих вариантов, генезиса и предыстории, у чуда есть только явленность.

Явленность «Мастера и Маргариты» — это читаемые и перечитываемые страницы на всех языках мира, это невыполнимое — но выполненное! — обещание Елены Сергеевны Булгаковой дожить и издать; это «рукописи не горят», преосуществленное в непривычно великодушное разрешение вождя оставить вдове архив вроде бы опального писателя... это, наконец, визиты к умирающему Булгакову «маршала от литературы» Фадеева — во исполнение, конечно же, поручений зловещего ценителя подлинных, а не им же «назначенных» гениев.

Но хватит, хватит «говорить и спорить», все нужное — и гораздо лучше — скажет текст романа...

¹ «Не следует множить сущности без необходимости».

Стоял ли перед Понтием Пилатом Иисус Назаретянин, Сын Божий или Иешуа Га-Ноцри, сын неизвестного отца, предположительно, сирийца, диагноз — по доктору Булгакову — один и тот же.

Диагноз страшный: мир наш не достоин ни евангельского Иисуса, ни романного Иешуа.

Потому что мир наш — мелок.

В нем нет Добра, есть лишь необременительное милосердие.

Но и Зла нет тоже — только корыстолюбие, трусость и «квартирный вопрос».

А уж просветленной радости нет и в помине, ведь не отнесешь же к таковой упоение «порционными судачками а натюрель», сыплющиеся с потолка червонцы или вороватый визит к «актрисе разъездного районного театра Милице Андреевне Покобатько»... светлой радости нет, но зато иногда, среди копошенья упоенных, как *memento mori*² возникают «... за соседним столиком налитые кровью чьи-то бычьи глаза, и страшно, страшно... О боги, боги мои, яду мне, яду!..».

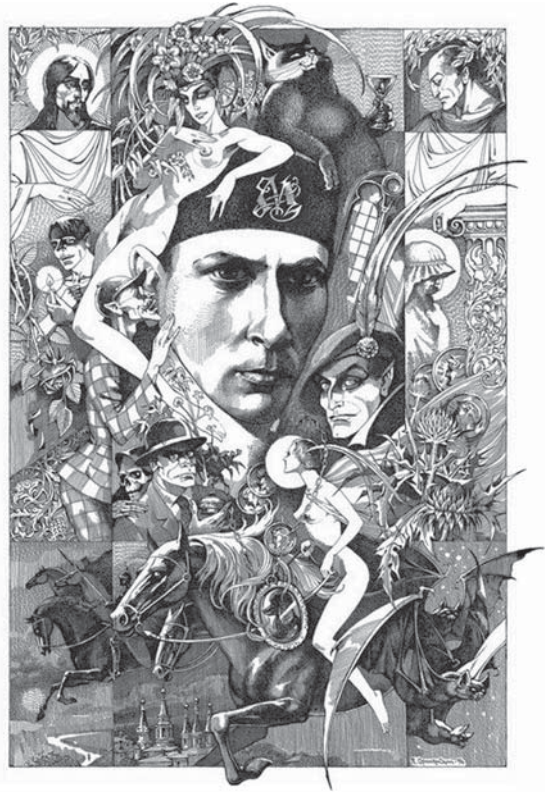
Романный московский мирок, этот «бульон», кипящий в «кастрюльке», ограниченной Садовым кольцом, лишен самого (на взгляд историков) существенного, чем характерны 30-е годы³. Где передовики, где вредители, где лозунги, бодрые песни, марши, митинги и демонстрации? Где неоспоримые успехи индустриализации? — разве что трамвай, под которым оказался Берлиоз.

И вот в миреке, где нет ни Добра, ни Зла, со своею разношерстной свитой появляется импозантный полиглот, внук «поганой старушки», получивший от нее в наследство «паразитарные травы». Коими и лечится от сифилиса, приобретенного на любовном свидании с «очаровательной ведьмой» в далеком 1571 году (сомневающимся в наличии у Воланда столь непрезентабельной болезни прошу перечитать его сетования на боли в колене из главы 22, «При свечах»).

Нет, это не Князь Тьмы! Этот внучок «поганой» бабушки не тянет на Властелина Мирового Зла, да и на вершителя его не тянет. Да он, если вчитаться, и не злодействует вовсе! — это, скорее, наблюдатель, вечный ре-визор, контролер, никого не искушающий — сами уже достаточно искусились, и никого к дурному не склоняющий — потому как сами

² Помни о смерти (лат.)

³ Хотя по мнению некоторых исследователей (Нат. Иванова «Пастернак» и другие», изд. «Эксмо», 2003) действие романа происходит в точности 2–5 мая 1929 г., по сути это мало что меняет.



М. Булгаков. «Мастер и Маргарита».
Художник П. Оринянский, 1995

давно склонились. Ибо сами, ведая! творят такое, за что непременно воздастся.

И воздастся.

Злодеям непритязательным и бесталанным — забвением.

А самодовольному и бесталанному Берлиозу воздается вроде как бы и бессмертием — не истлевающим существованием его отрезанной головы в виде кубка, но не хотелось бы мне для моего черепа такого бессмертия... куда как лучше: «Бедный Йорик! Я знал его, Горацио...»

Тем же, кто злодействовал с огоньком, азартно, с выдумкой, с размахом, дано раз в году восстать из гробов, из праха и покружиться на балу, где в звуках скрипки Вьетана — вальсы Штрауса, где бьют фонтаны из шампанского... какая усмешливая переключка с мандельштамовским «и вальс из гроба в колыбель переливающей как хмель»!

Но заметьте: почти три десятилетия 20-го века на веселье в пятом измерении «нехорошей квартиры» представлены скупо.

Только Фрида, задушившая своего младенца с замеченной распорядителями бала новизной; да некто безымянный, в коем, впрочем, легко угадывается Генрих Ягода, — согласно

одному из пунктов обвинения на одном из известных процессов — обработавший парами ртутные стены кабинета своего преемника, Николая Ежова.

И все. Не было, на взгляд Воланда, в 20-м веке других оригинальных злодеев.

Зло стало массовым, привычным и банальным; мир ожесточился, упростился и измельчал.

Воланду заметно надоел такой мир, он устал от него. Экий, посмотрите, «драйв» у его подручных! Как энергичен Азazelло (хотя «лет» ему никак не меньше, чем шефу) — он все время что-то делает, кого-то уговаривает, кому-то бьет морду, кого-то убивает, наконец... А Воланд лишь наблюдает, вновь и вновь убеждаясь, что в мире ничего не меняется, что коллекцию гостей на балу пополнить нечем — вот и выходит он в сверкающий, наполненный вакхическими восторгами зал прихрамывая, опираясь на шпагу, и лишь на миг, после ритуального, прощального тоста, предстает «каким положено»... и все — вновь грязная, заплатанная ночная рубаша. Мероприятие состоялось, парадная хламида больше не нужна.

Считанные разы гремит его мефистофельский бас, звучит леденящий кровь смех. Считанные разы оживляется этот уставший скептик, вечный путник, вечный наблюдатель.

«— В нашей стране атеизм никого не удивляет, — дипломатически вежливо сказал Берлиоз, — большинство нашего населения сознательно и давно перестало верить сказкам о боге.

Тут иностранец отколол такую штуку: встал и пожал изумленному редактору руку, произнеся при этом слова:

— Позвольте вас поблагодарить от всей души! ... За очень важное сведение, которое мне, как путешественнику, чрезвычайно интересно, — многозначительно подняв палец, пояснил заграничный чудака».

Каково?! На шестой части суши насаждается омерзительно вульгарный материализм, а Там, Откуда явился Воланд, Там, Куда показывает его многозначительно поднятый палец, это «очень важное сведение» внове?! Но ведь когда Кант убедительно опроверг все пять доказательств существования Бога, принадлежавших, по утверждению католических богословов, Фоме Аквинскому (шестое доказательство, кстати, Кант не создавал, Булгаков приписал ему это деяние ошибочно или в шутку) — Воланд поспешил гениального философа навестить!

Не говоря уже о том, что в драматически переломный момент истории человечества,



Великий бал у Сатаны. Иллюстрация к роману М. Булгакова «Мастер и Маргарита». Художник П. Оринянский, 1995

когда Иешуа стоял перед Понтием Пилатом, Воланд смиренно прятался за колонной и внимательнейше все запоминал.

Но на шестой части суши Кантов нет, ничего поворотного (по Булгакову) не происходит, поэтому Воланд посещает Москву вполне планомерно, согласно давно составленному и «утвержденному» графику: предыдущий ежегодный бал давали в какой-то другой столице, а следующий будет дан еще где-нибудь. Тем не менее, сведения о ранее не отмеченном возникновении поголовно атеистической страны может, вероятно, стать изюминкой отправляемого Туда отчета... однако Воланд вскоре обнаружил «изюминку» куда более пряную.

«— О чем роман?

— Роман о Понтии Пилате.

Тут опять закачались и запрыгали язычки свечей, задребезжала посуда на столе, Воланд рассмеялся громовым образом...

— О чем, о чем? О ком? — заговорил Воланд, перестав смеяться. — Вот теперь? Это потрясающе! И вы не могли найти другой темы?..»

И все же роман Мастера — это поворотный момент, и Воланд немедленно «передает» рукопись на прочтение Иешуа, но дальнейшую судьбу писателя и его возлюбленной не определяет.

«Зло», наградив Маргариту за труды на балу, отпущенные ему полномочия исчерпало.

Решать будет Добро — Иешуа, и Воланд предвидит, как именно решать: «... роман ваш принесет еще сюрпризы. — Это очень грустно, — ответил Мастер. — Нет, нет, это не грустно, — сказал Воланд, — ничего страшного уже не будет...»

Иешуа прочитал роман; Левий Матвей передал Воланду просьбу Учителя наградить Мастера и Маргариту покоем...⁴ и... «Передай, что будет сделано, — ответил Воланд...»

Краткий, энергичный ответ — так отвечает вышестоящему вышколаенный нижестоящий.

Никаких «Постараюсь», тем паче: «Ну, так уж и быть»...

Итак, «...будет сделано», но вспомним, как это **было** сделано?!

Азazelло убил Мастера и его подругу (« — Отравитель, — успел еще крикнуть Мастер»).

А это означает, как не неприятно такое признать, что Добро попросило представителя «Зла» вознаградить двух страдальцев, предварительного их умертвив.

Или, скажем мягче, прекратив их земное существование.

Но мне не неприятно такое признать, потому что из земного существования путь один — в землю. Из праха — в прах. Из тлена — в тлен... А бытие писателя, угадавшего, узревшего истину — уже не вполне земное. И потому для смирившегося со своим несчастьем пациента, томящегося в соседней с Иванушки Бездомного палате — внезапная смерть... для чуть было не смирившейся со своим несчастьем тайной его подруги — внезапная смерть...

Зато для **преображенных** возлюбленных — вечный покой.

Но не кладбищенский сон и не райская праздность, а деятельное бессмертие: книги, размышления, беседы с великими умами прошлого... и цветущий сад... ну, конечно же, как без Чехова? — вишневым! — и никакие Лопухины под топор его не пустят.

Мастер и Маргарита заслужили и это преображение, и это счастье.

Он — прозрением, соразмерным прозрениям пророков.

Она — любовью, соизмеримой с той, что благословил апостол Павел в своем первом Послании к коринфянам.

Но самое удивительное, что света оказался достоин освобожденный Мастером Понтий Пилат — он пошел с Иешуа по бесконечной лунной дороге, и услышал не просто слова прощения (воистину, Иешуа — это всеохватывающее, всеобъемлющее Добро!), а утешительную ложь, что и казни-то никакой не было, то есть не за что и прощать!

За что ему эта, лучшая из лучших, награда? За то лишь, что покарал Иуду из Кириафа? За то, что захотел помочь Иешуа, посчитав его целителем, способным избавлять от приступов мучительной мигрени? Да, и за это тоже. А еще за две тысячи лет раскаяния, за двухтысячелетнюю прикованность к ненавистному прокураторскому креслу, за две тысячи лет беспомощных жалоб на ненавидимые им «...бессмертие и неслыханную славу».

Но, в основном, за то, что «всадник Золотое копые», карьерист, верой, правдой и пролитой кровью служивший всемогущему государству, вдруг, на склоне жизни и карьеры, ощутил возвышающееся над всеми мыслимыми государствами — величие Добра.

Прошенная вина служаки, всадника Понтийского Пилата — трусость.

А не прошенная слабость творца, Мастера (« — Он не заслужил света, он заслужил покой, — печальным голосом проговорил Левий») — отречение, пусть ненадолго, от своего творения (« Он мне ненавистен, этот роман, — ответил мастер, — я слишком много испытал из-за него»)

А в чем же вина Иванушки Бездомного, за что его каждое полнолуние мучает один и тот же жуткий сон: «Он видит неестественного безносого палача, который, подпрыгнув и как-то ухнув голосом, колет копьём в сердце... потерявшего разум Гестаса?»

Ведь и Бездомный раскаялся, бросил писать скверные стихи; на творчество, ему недоступное, он уже не замахивается.

Но как, скажите, человек, признавший свою невежественность (глава 13, «Явление героя»), всего-то через несколько лет стал профессором, сотрудником Института истории и философии, в штат которого без ведома идеологического отдела ЦК ВКП (б) и уборщица не попадала?

⁴ О толковании в философской системе самобытнейшего Григория Сковороды понятий «свет» и «покой», столь важных для понимания замысла романа — см. на igalinsk.narod.ru/zagad/z2joke.htm

И какими темами мог заниматься «красный профессор» удобного для той власти рабоче-крестьянского происхождения?..

Но Булгаков милосерден: всего один успокаивающий укол, и в потоках лунного света к Иванушке приходят Мастер и Маргарита, утешают... и «Его исколотая память затихает...»

Да, Булгаков милосерден!

Визит Воланда наделал в Москве много шума, но основы мирка не потряс. «Бульон» опять забулькал во все той же «кастрюльке»... а доносчик Алоизий Могарыч — так вообще получил повышение... а другой доносчик, барон Майгель, единственный, кто пал волею «темных сил» — какое, однако ж, беззлобное «Зло» в этих силах! не то, что в наших земных, охотно именуемых светлыми... так вот, барон Майгель получил быструю и легкую смерть вместо мучительной, приуроченной ему чекистами.

Получил на целый месяц раньше — да и ладно, для основ мирка безвредно...

Это свято место всего лишь не бывает пусто, а на место доносчика всегда огромный конкурс.

И все, как-будто ничего и не было, и одно только никак не укладывалось в простенькую, без фантазий, версию Лубянки о «массовом гипнозе» — это исчезновение Мастера и Маргариты.

Ах, как бы хотелось Михаилу Афанасьевичу Булгакову и его любимой исчезнуть вот так же, умчаться на летящих конях в неопишваемое, но волшебным пером описанное прекрасное далёко!

Иное, непривычное, но изумительно стройное устройство мироздания описал нам Булгаков.

Есть Кто-то, им не названный, Кому подчинены и свет, и тьма, и покой.

Есть какое-то «где-то там» — для незаурядных злодеев, раз в год приглашаемых на бал, вроде бы ослепительный, однако по сути своей купечки-ухарский, сходный с забубенными разгулами в ресторане, где директорствует вполне земной Арчибальд Арчибальдович.

Нет Зла надмирного, зато кошмарно много зла земного.

Но есть надмирное, всепрошающее Добро — Иешуа, Иисус.

Да, не канонически-церковный Иисус, скорее, толстовский Иисус, приемлющий, во имя милосердия, даже очевидную, но такую спасительную ложь.

Но кто сказал, что «Божественная комедия», созданная гением Данте Алигьери, из римского рода Элизеев, в описаниях своих достовернее божественной трагедии, созданной гением Михаила Булгакова, из рода православных священников и богословов?

И кто сказал, что не может быть деятельного покоя, деятельного бессмертия, уготованного для великих творцов, к коим, без сомнения, Булгаков относил и себя.

Высокомерие?! Да разве может быть высокомерной такая отчаянная, такая закатная мечта измученного творца!

Мечта-отклик, мечта-ответ на пронзительные строки Фета: «Не жизни жаль с томительным дыханьем, / Что жизнь и смерть? А жаль того огня, / Что просиял над целым мирозданьем, / И в ночь идет, и плачет, уходя».

— Да, плачет, — словно отвечает бугаковская мечта, — но все же счастлив тем, что уходит в покой несуетной работы, в покой ничем не отягощенной любви.

СНЫ ЗОЛОТЫЕ НАВЕВАТЬ...

Победив на двух-трех местных конкурсах самодеятельности, к десятому классу я стал считаться подающим надежды чтецом-декламатором, однако это было приятным, но совершеннейшим пустяком в сравнении с мечтой — тайной, страстной, маниакальной — ПЕТЬ!

Неоднократно обновляемые пластинки с записями Шаляпина заигрывались за месяц-два, нюансы его великого пения звучали во мне денно и нощно, а когда пробовал воспроизводить их в четверть, в одну пятую голоса, то, черт возьми, кажется, получалось! Не давались только две вещи.

В «Пророке», на музыку Римского-Корсакова, Федор Иванович сотворил неповторяемое. «... И внял я неба содроганье» — какое страдальческое обретение в этом сверхчеловеческом «вня-я-я-л», с какими раскатами грома гнева Господня выпеваются согласные в «содроганье»! Потом звучанием трубы архангела Михаила: «... И горний ангелов полет»; потом: «... И гад морских подводный ход» — и на плечи наваливается чудовищная толща воды... но вот, наконец, словно освобождение: «... И дольней лозы прозябанье» — и тянешься к солнцу, как замерзшая, но отчаянно жаждущая жить лоза...

Ладно, думал я, в «Пророке» кумир недосыгаем, придется смириться, но эпическое «На земл-е-е-е...» в начале куплетов Мефистофеля — достижимо. Тем паче, кумир поет по-французски, а я спою с той же мощью по-русски.

И пусть долгие годы учебы, пусть труды непрерывные и неустанные, пусть режим и самоограничение — но когда-нибудь заполню своим «На земл-е-е-е...» зал «Ла Скала», «Метрополитен» или «Ковент-Гарден»...

...5 ноября 1961 года в бакинской школе № 26 состоялся вечер, понятно чему посвященный. Отчитав что-то из Маяковского, пошел было покурить — но вдруг услышал знакомые аккорды... и школу заполнил шалаяпинской беспредельности голос, спевший начало куплетов Мефистофеля.

Пустился со всех ног обратно и увидел за нашим раздолбанным пианино долговязого, худющего юношу в солдатской форме, который себе аккомпанирует — и в этом, не самом удобном для певца, положении умудряется сотрясать актывый зал звуками изумительной красоты. Они, казалось, удваивали, удесятиряли немалый объем зала — и все вокруг откликалось и резонировало, как деки хорошо сработанных виолончелей, лоявшие малейшую вибрацию струн.

Конечно, это пел не я, но, клянусь вам, это пел я, потому что юноша в солдатской форме заставлял «петь» вместе с собою всех, даже впервые слышавших Гуно и о Гуно; заставлял — своими уникальными связками, темпераментом и необыкновенным артистизмом — участвовать в этом потрясающем Пении.

Голосу чуть-чуть не хватало, быть может, той едва уловимой тяжеловесности, без которой бас — не совсем все же бас, это было немного странно, но стало совсем удивительно, когда юноша, нетерпеливо отмахнувшись

от аплодисментов, запел каватину Фигаро. Да с такими фиоритурами, с таким богатством интонаций, о которых мечтал, наверное, сам Россини, когда лихорадочно вписывал в нотный стан переполнявшую его Музыку...

...Так что же у него, у этого чудо-внука знаменитого азербайджанского композитора: бас или баритон? Все выяснилось на прослушивании, которое мне весной 1962 года устроили у Сусанны Аркадьевны Тер-Микаэлян, учившей петь Муслима. В ее кабинете висела афиша его концерта в Грозном, но тогда она еще не знала, что судьба послала ей не просто феноменально одаренного ученика, но того, чей голос и облик всего-то через два года станут для десятков миллионов воплощением самого понятия «Певец».

Сусанна Аркадьевна признала у меня наличие «вроде бы неплохого материала» и спросила, кто мой кумир.

— Конечно, Шалаяпин! — ответил я гордо и тут же рассказал про куплеты Мефистофеля, про то, как много буду трудиться, чтобы...

— А вот Муслиму трудиться почти не надо было, — охолодила меня Сусанна Аркадьевна и любовно посмотрела на афишу, — бас был поставлен от природы.

— Бас все-таки? А как же тогда Фигаро?!

— Сам переставил себе голос... Ладно, приходи в четверг. Подумаю, что с тобой можно сделать...

Сам переставил?! Безумно трудно «перестроить» связки, небо, дыхание даже под руководством блестящего педагога. Но проделывать все это самому?!

...Я не пришел в четверг, решив, что не хочу быть певцом, раз между мною и Шалаяпиным всегда будет Муслим Магомаев.

Конечно, фанфаронство семнадцатилетнего сопляка... Но, с другой, гораздо более важной, стороны — Муслим, сам того не ведая, преподал мне непреложную истину: не следует заниматься тем, в чем всегда будешь безнадежно далек от идеала.

Разумеется, в математике, которой я занимался до 1997 года, было (и есть) множество людей талантливее меня. Но они решали свои, им посильные, более сложные задачи; однако же те, посильные мне, что решал именно я, решались почти идеально.

Разумеется, сцена бреда раненного под Бородином Андрея Болконского, купринские «Река жизни» и «Гамбринус», финальные страницы «Мастера и Маргариты» или «Приглашения на казнь», или Веничкиного романа



Муслим Магомаев

написаны с силой, для меня недоступной, однако ж, и здесь есть спасительное утешение: я-то пишу о других людях и других временах — и в этих мною создаваемых мирах или мирках пребываю ни с кем не сравнимым демиургом.

Но для поющих нет таких утешительных соображений — вокальные партии написаны неизменно, и тут только отпущенный певцу талант есть и критерий, и итог.

...Муслим всегда был броско талантлив, блестящ, неповторим, но того первого потрясения не случилось долго, пока однажды не услышал его в дуэте с великолепной Тамарой Синявской. Он опять аккомпанировал, теперь уже за отличным концертным роялем, и опять совершил чудо: благородно сдержанное, бархатистое его пение было виолончельным сопровождением летящего голоса жены — а так вести себя в ансамбле могут только воистину великие артисты. И я еще раз сказал ему спасибо за когда-то невзначай подаренное понимание...

Все, за что Муслим брался, он пел идеально: каватину ли Фигаро, песни ли Бабаджаняна или Пахмутовой, романс ли Дон-Кихота... Рискну предположить, что не спел, скажем, Риголетто, потому что задолго до него это идеально сделали Титта Руффо и

Тито Гобби, а быть в отдалении от идеала мог позволить себе кто угодно, только не Муслим Магомаев.

Но в одной оперной партии он достиг бы, как мне кажется, совершенства: Демона в опере Рубинштейна, где фантастически красиво звучали бы и сохраненная им басовая плотность, и обретенная гибкость баритональных верхов.

И — уверен — не раз напевал он жене слова Демона, обращенные тоже к избраннице, тоже к Тамаре:

*Лишь только ночь своим покровом
Верхи Кавказа осенит,
Лишь только мир, волшебным словом
Завороженный, замолчит;*

.....
*Лишь только месяц золотой
Из-за горы тихонько встанет
И на тебя украдкой взглянет, —
К тебе я стану прилетать;
Гостить я буду до денницы
И на шелковые ресницы
Сны золотые навевать...*

Но даже если он это и не напевал, все равно, даруй ей, Господи, золотые сны, наполненные волшебным голосом Муслима Магомаева.

